# У войны не женское лицо

**Автор:**
Светлана Алексиевич

У войны не женское лицо

Светлана Александровна Алексиевич

Голоса Утопии #1

Одна из самых известных в мире книг о войне, положившая начало знаменитому художественно-документальному циклу «Голоса Утопии». «За многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время» Светлана Алексиевич получила в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Перед вами последняя авторская редакция: писательница, в соответствии со своим творческим методом, доработала книгу, убрав цензурную правку, вставив новые эпизоды, дополнив записанные женские исповеди страницами собственного дневника, который она вела в течение семи лет работы над книгой. «У войны не женское лицо» – опыт уникального проникновения в духовный мир женщины, выживающей в нечеловеческих условиях войны. Книга переведена более чем на двадцать языков, включена в школьные и вузовские программы во многих странах, получила несколько престижных премий: премия Рышарда Капущинского (2011) за лучшее произведение в жанре репортажа, премия Angelus (2010) и другие.

Светлана Алексиевич

У войны не женское лицо

© Светлана Алексиевич, 2013

© «Время», 2013

– Когда впервые в истории женщины появились в армии?

– Уже в IV веке до нашей эры в Афинах и Спарте в греческих войсках воевали женщины. Позже они участвовали в походах Александра Македонского.

Русский историк Николай Карамзин писал о наших предках: «Славянки ходили иногда на войну с отцами и супругами, не боясь смерти: так при осаде Константинополя в 626 году греки нашли между убитыми славянами многие женские трупы. Мать, воспитывая детей, готовила их быть воинами».

– А в новое время?

– Впервые – в Англии в 1560–1650 годы стали формировать госпитали, в которых служили женщины-солдаты.

– Что произошло в XX веке?

– Начало века… В Первую мировую войну в Англии женщин уже брали в Королевские военно-воздушные силы, был сформирован Королевский вспомогательный корпус и женский легион автотранспорта – в количестве 100 тысяч человек.

В России, Германии, Франции многие женщины тоже стали служить в военных госпиталях и санитарных поездах.

А во время Второй мировой войны мир стал свидетелем женского феномена. Женщины служили во всех родах войск уже во многих странах мира: в английской армии – 225 тысяч, в американской – 450–500 тысяч, в германской – 500 тысяч…

В Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели всеми военными специальностями, в том числе и самыми «мужскими». Даже возникла языковая проблема: у слов «танкист», «пехотинец», «автоматчик» до того времени не существовало женского рода, потому что эту работу еще никогда

не делала женщина. Женские слова родились там, на войне…

Из разговора с историком

Человек больше войны (из дневника книги)

Миллионы убитых задешево

Протоптали тропу в темноте…

Осип Мандельштам

1978–1985 гг

Пишу книгу о войне…

Я, которая не любила читать военные книги, хотя в моем детстве и юности у всех это было любимое чтение. У всех моих сверстников. И это неудивительно – мы были дети Победы. Дети победителей. Первое, что я помню о войне? Свою детскую тоску среди непонятных и пугающих слов. О войне вспоминали всегда: в школе и дома, на свадьбах и крестинах, в праздники и на поминках. Даже в детских разговорах. Соседский мальчик однажды спросил меня: «А что люди делают под землей? Как они там живут?». Нам тоже хотелось разгадать тайну войны.

Тогда и задумалась о смерти… И уже никогда не переставала о ней думать, для меня она стала главной тайной жизни.

Все для нас вело начало из того страшного и таинственного мира. В нашей семье украинский дедушка, мамин отец, погиб на фронте, похоронен где-то в венгерской земле, а белорусская бабушка, папина мама, умерла от тифа

в партизанах, двое ее сыновей служили в армии и пропали без вести в первые месяцы войны, из троих вернулся один. Мой отец. Одиннадцать дальних родственников вместе с детьми немцы сожгли заживо – кого в своей хате, кого в деревенской церкви. Так было в каждой семье. У всех.

Деревенские мальчишки долго еще играли в «немцев» и «русских». Кричали немецкие слова: «Хенде хох!», «Цурюк», «Гитлер капут!».

Мы не знали мира без войны, мир войны был единственно знакомым нам миром, а люди войны – единственно знакомыми нам людьми. Я и сейчас не знаю другого мира и других людей. А были ли они когда-нибудь?

* * *

Деревня моего детства после войны была женская. Бабья. Мужских голосов не помню. Так у меня это и осталось: о войне рассказывают бабы. Плачут. Поют, как плачут.

В школьной библиотеке – половина книг о войне. И в сельской, и в райцентре, куда отец часто ездил за книгами. Теперь у меня есть ответ – почему. Разве случайно? Мы все время воевали или готовились к войне. Вспоминали о том, как воевали. Никогда не жили иначе, наверное, и не умеем. Не представляем, как жить по-другому, этому нам надо будет когда-нибудь долго учиться.

В школе нас учили любить смерть. Мы писали сочинения о том, как хотели бы умереть во имя… Мечтали…

А голоса на улице кричали о другом, манили больше.

Я долго была книжным человеком, которого реальность пугала и притягивала. От незнания жизни появилось бесстрашие. Теперь думаю: будь я более реальным человеком, могла ли бы кинуться в такую бездну? От чего все это было – от незнания? Или от чувства пути? Ведь чувство пути есть…

Долго искала… Какими словами можно передать то, что я слышу? Искала жанр, который бы отвечал тому, как вижу мир, как устроен мой глаз, мое ухо.

Однажды попала в руки книга «Я – из огненной деревни» А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника. Такое потрясение испытала лишь однажды, читая Достоевского. А тут – необычная форма: роман собран из голосов самой жизни. из того, что я слышала в детстве, из того, что сейчас звучит на улице, дома, в кафе, в троллейбусе. Так! Круг замкнулся. Я нашла то, что искала. Предчувствовала.

Алесь Адамович стал моим учителем…

* * *

Два года не столько встречалась и записывала, сколько думала. Читала. О чем будет моя книга? Ну, еще одна книга о войне… Зачем? Уже были тысячи войн – маленькие и большие, известные и неизвестные. А написано о них еще больше. Но… Писали мужчины и о мужчинах – это стало понятно сразу. Все, что нам известно о войне, мы знаем с «мужского голоса». Мы все в плену «мужских» представлений и «мужских» ощущений войны. «Мужских» слов. А женщины молчат. Никто же, кроме меня, не расспрашивал мою бабушку. Мою маму. Молчат даже те, кто был на фронте. Если вдруг начинают вспоминать, то рассказывают не «женскую» войну, а «мужскую». Подстраиваются под канон. И только дома или, всплакнув в кругу фронтовых подруг, они начинают говорить о своей войне, мне незнакомой. Не только мне, всем нам. В своих журналистских поездках не раз была свидетельницей, единственной слушательницей совершенно новых текстов. И испытывала потрясение, как в детстве. В этих рассказах проглядывал чудовищный оскал таинственного… Когда женщины говорят, у них нет или почти нет того, о чем мы привыкли читать и слышать: как одни люди героически убивали других и победили. Или проиграли. Какая была техника и какие генералы. Женские рассказы другие и о другом. У «женской» войны свои краски, свои запахи, свое освещение и свое пространство чувств. Свои слова. Там нет героев и невероятных подвигов, там есть просто люди, которые заняты нечеловеческим человеческим делом. И страдают там не только они (люди!), но и земля, и птицы, и деревья. Все, кто живут вместе с нами на земле. Страдают они без слов, что еще страшнее.

Но почему? – не раз спрашивала я у себя. – Почему, отстояв и заняв свое место в когда-то абсолютно мужском мире, женщины не отстояли свою историю? Свои слова и свои чувства? Не поверили сами себе. От нас скрыт целый мир. Их война осталась неизвестной…

Хочу написать историю этой войны. Женскую историю.

* * *

После первых встреч…

Удивление: военные профессии у этих женщин – санинструктор, снайпер, пулеметчица, командир зенитного орудия, сапер, а сейчас они – бухгалтеры, лаборантки, экскурсоводы, учительницы… Несовпадение ролей – там и здесь. Вспоминают как будто не о себе, а о каких-то других девчонках. Сегодня сами себе удивляются. И на моих глазах «очеловечивается» история, становится похожей на обычную жизнь. Появляется другое освещение.

Встречаются потрясающие рассказчицы, у них в жизни есть страницы, которые могут соперничать с лучшими страницами классики. Человек так ясно видит себя сверху – с неба, и снизу – с земли. Перед ним весь путь вверх и путь вниз – от ангела к зверю. Воспоминания – это не страстный или бесстрастный пересказ исчезнувшей реальности, а новое рождение прошлого, когда время поворачивает вспять. Прежде всего это – творчество. Рассказывая, люди творят, «пишут» свою жизнь. Бывает, что и «дописывают» и «переписывают». Тут надо быть начеку. На страже. В то же время боль расплавляет, уничтожает любую фальшь. Слишком высокая температура! Искреннее, убедилась я, ведут себя простые люди – медсестры, повара, прачки… Они, как бы это точнее определить, из себя достают слова, а не из газет и прочитанных книг – не из чужого. А только из своих собственных страданий и переживаний. Чувства и язык образованных людей, как это ни странно, часто больше подвержены обработке временем. Его общей шифровке. Заражены вторичным знанием. Мифами. Часто приходится долго идти, разными кругами, чтобы услышать рассказ о «женской» войне, а не о «мужской»: как отступали, наступали, на каком участке фронта… Требуется не одна встреча, а много сеансов. Как настойчивому портретисту.

Долго сижу в незнакомом доме или квартире, иногда целый день. Пьем чай, примеряем недавно купленные кофточки, обсуждаем прически и кулинарные рецепты. Рассматриваем вместе фотографии внуков. И вот тогда… Через какое-то время, никогда не узнаешь, через какое и почему, вдруг наступает тот долгожданный момент, когда человек отходит от канона – гипсового и железобетонного, как наши памятники – и идет к себе. В себя. Начинает вспоминать не войну, а свою молодость. Кусок своей жизни… Надо поймать этот

момент. Не пропустить! Но часто после длинного дня, заполненного словами, фактами, слезами, остается в памяти только одна фраза (но какая!): «Я такая маленькая пошла на фронт, что за войну даже подросла». Ее и оставляю в записной книжке, хотя на магнитофоне накручены десятки метров. Четыре-пять кассет…

Что мне помогает? Помогает то, что мы привыкли жить вместе. Сообща. Соборные люди. Все у нас на миру – и счастье, и слезы. Умеем страдать и рассказывать о страдании. Страдание оправдывает нашу тяжелую и нескладную жизнь. Для нас боль – это искусство. Должна признать, женщины смело отправляются в этот путь…

* * *

Как они встречают меня?

Зовут: «девочка», «доченька», «деточка», наверное, будь я из их поколения, они держались бы со мной иначе. Спокойно и равноправно. Без радости и изумления, которые дарит встреча молодости и старости. Это очень важный момент, что тогда они были молодые, а сейчас вспоминают старые. Через жизнь вспоминают – через сорок лет. Осторожно открывают мне свой мир, щадят: «Сразу после войны вышла замуж. Спряталась за мужа. За быт, за детские пеленки. Охотно спряталась. И мама просила: “Молчи! Молчи! Не признавайся”. Я выполнила свой долг перед Родиной, но мне печально, что я там была. Что я это знаю… А ты – совсем девочка. Тебя мне жалко…». Часто вижу, как они сидят и прислушиваются к себе. К звуку своей души. Сверяют его со словами. С долгими годами человек понимает, что вот была жизнь, а теперь надо смириться и приготовиться к уходу. Не хочется и обидно исчезнуть просто так. Небрежно. На ходу. И когда он оглядывается назад, в нем присутствует желание не только рассказать о своем, но и дойти до тайны жизни. Самому себе ответить на вопрос: зачем это с ним было? Он смотрит на все немного прощальным и печальным взглядом… Почти оттуда… Незачем уже обманывать и обманываться. Ему уже понятно, что без мысли о смерти в человеке ничего нельзя разглядеть. Тайна ее существует поверх всего.

Война слишком интимное переживание. И такое же бесконечное, как и человеческая жизнь…

Один раз женщина (летчица) отказалась со мной встретиться. Объяснила по телефону: «Не могу… Не хочу вспоминать. Я была три года на войне… И три года я не чувствовала себя женщиной. Мой организм омертвел. Менструации не было, почти никаких женских желаний. А я была красивая… Когда мой будущий муж сделал мне предложение… Это уже в Берлине, у рейхстага… Он сказал: “Война кончилась. Мы остались живы. Нам повезло. Выходи за меня замуж”. Я хотела заплакать. Закричать. Ударить его! Как это замуж? Сейчас? Среди всего этого – замуж? Среди черной сажи и черных кирпичей… Ты посмотри на меня… Посмотри – какая я! Ты сначала сделай из меня женщину: дари цветы, ухаживай, говори красивые слова. Я так этого хочу! Так жду! Я чуть его не ударила… Хотела ударить… А у него была обожженная, багровая одна щека, и я вижу: он все понял, у него текут слезы по этой щеке. По еще свежим рубцам… И сама не верю тому, что говорю: “Да, я выйду за тебя замуж”.

Простите меня… Не могу…».

Я ее поняла. Но это тоже страничка или полстранички будущей книги.

Тексты, тексты. Повсюду – тексты. В городских квартирах и деревенских хатах, на улице и в поезде… Я слушаю… Все больше превращаюсь в одно большое ухо, все время повернутое к другому человеку. «Читаю» голос.

* * *

Человек больше войны…

Запоминается именно то, где он больше. Им руководит там что-то такое, что сильнее истории. Мне надо брать шире – писать правду о жизни и смерти вообще, а не только правду о войне. Задать вопрос Достоевского: сколько человека в человеке, и как этого человека в себе защитить? Несомненно, что зло соблазнительно. Оно искуснее добра. Притягательнее. Все глубже погружаюсь в бесконечный мир войны, все остальное слегка потускнело, стало обычнее, чем обычно. Грандиозный и хищный мир. Понимаю теперь одиночество человека, вернувшегося оттуда. Как с другой планеты или с того света. У него есть знание, которого у других нет, и добыть его можно только там, вблизи смерти. Когда он пробует что-то передать словами, у него ощущение катастрофы. Человек немеет. Он хочет рассказать, остальные хотели бы понять, но все бессильны.

Они всегда в ином пространстве, чем слушатель. Их окружает невидимый мир. По меньшей мере три человека участвуют в разговоре: тот, кто рассказывает сейчас, этот же человек, каким он был тогда, в момент события, – и я. Моя цель – прежде всего добыть правду тех лет. Тех дней. Без подлога чувств. Сразу после войны человек рассказал бы одну войну, через десятки лет, конечно, у него что-то меняется, потому что он складывает в воспоминания уже всю свою жизнь. Всего себя. То, как он жил эти годы, что читал, видел, кого встретил. Наконец, счастлив он или несчастлив. Разговариваем с ним наедине, или рядом еще кто-то есть. Семья? Друзья – какие? Фронтовые друзья – это одно, все остальные – другое. Документы – живые существа, они меняются и колеблются вместе с нами, из них без конца можно что-то доставать. Что-то новое и необходимое нам именно сейчас. В эту минуту. Что мы ищем? Чаще всего не подвиги и геройство, а маленькое и человеческое, нам самое интересное и близкое. Ну, что больше всего хотелось бы мне узнать, например, из жизни Древней Греции… Истории Спарты… Я хотела бы прочитать, как и о чем тогда люди разговаривали дома. Как уходили на войну. Какие слова говорили в последний день и в последнюю ночь перед расставанием своим любимым. Как провожали воинов. Как ждали их с войны… Не героев и полководцев, а обычных юношей…

История – через рассказ ее никем не замеченного свидетеля и участника. Да, меня это интересует, это я хотела бы сделать литературой. Но рассказчики – не только свидетели, меньше всего свидетели, а актеры и творцы. Невозможно приблизиться к реальности вплотную, лоб в лоб. Между реальностью и нами – наши чувства. Понимаю, что имею дело с версиями, у каждого своя версия, а уже из них, из их количества и пересечений, рождается образ времени и людей, живущих в нем. Но я бы не хотела, чтобы о моей книге сказали: ее герои реальны, и не более того. Это, мол, история. Всего лишь история.

Пишу не о войне, а о человеке на войне. Пишу не историю войны, а историю чувств. Я – историк души. С одной стороны, исследую конкретного человека, живущего в конкретное время и участвовавшего в конкретных событиях, а с другой стороны, мне надо разглядеть в нем вечного человека. Дрожание вечности. То, что есть в человеке всегда.

Мне говорят: ну, воспоминания – это и не история, и не литература. Это просто жизнь, замусоренная и не очищенная рукой художника. Сырой материал говорения, в каждом дне его полно. Всюду валяются эти кирпичи. Но кирпичи еще не храм! Но для меня все иначе… Именно там, в теплом человеческом голосе, в живом отражении прошлого скрыта первозданная радость и обнажен

неустранимый трагизм жизни. Ее хаос и страсть. Единственность и непостижимость. Там они еще не подвергнуты никакой обработке. Подлинники.

Я строю храмы из наших чувств… Из наших желаний, разочарований. Мечтаний. Из того, что было, но может ускользнуть.

* * *

Еще раз о том же… Меня интересует не только та реальность, которая нас окружает, но и та, что внутри нас. Мне интересно не само событие, а событие чувств. Скажем так – душа события. Для меня чувства – реальность.

А история? Она – на улице. В толпе. Я верю, что в каждом из нас – кусочек истории. У одного – полстранички, у другого – две-три. Мы вместе пишем книгу времени. Каждый кричит свою правду. Кошмар оттенков. И надо все это расслышать, и раствориться во всем этом, и стать этим всем. И в то же время не потерять себя. Соединить речь улицы и литературы. Сложность ещё в том, что о прошлом мы говорим сегодняшним языком. Как передать им чувства тех дней?

* * *

С утра телефонный звонок: «Мы с вами не знакомы… Но я приехала из Крыма, звоню с железнодорожного вокзала. Далеко ли это от вас? Хочу рассказать вам свою войну…».

Так?!

А мы собрались с моей девочкой поехать в парк. Покататься на карусели. Как объяснить шестилетнему человечку, чем я занимаюсь. Она недавно у меня спросила: «Что такое – война?». Как ответить… Я хочу отпустить ее в этот мир с ласковым сердцем и учу, что нельзя просто так цветок сорвать. Жалко божью коровку раздавить, оторвать у стрекозы крылышко. А как объяснить ребенку войну? Объяснить смерть? Ответить на вопрос: почему там убивают? Убивают даже маленьких, таких, как она. Мы, взрослые, как бы в сговоре. Понимаем,

о чем идет речь. А вот – дети? После войны мне как-то родители это объяснили, а я своему ребенку уже не могу объяснить. Найти слова. Война нам нравится все меньше, нам все труднее найти ей оправдание. Для нас это уже просто убийство. Во всяком случае, для меня это так.

Написать бы такую книгу о войне, чтобы от войны тошнило, и сама мысль о ней была бы противна. Безумна. Самих генералов бы тошнило…

Мои друзья-мужчины (в отличие от подруг) ошарашены такой «женской» логикой. И я опять слышу «мужской» аргумент: «Ты не была на войне». А может быть, это и хорошо: мне неведома страсть ненависти, у меня нормальное зрение. Невоенное, немужское.

В оптике есть понятие «светосила» – способность объектива хуже-лучше зафиксировать уловленное изображение. Так вот, женская память о войне самая «светосильная» по напряжению чувств, по боли. Я бы даже сказала, что «женская» война страшнее «мужской». Мужчины прячутся за историю, за факты, война их пленяет как действие и противостояние идей, различных интересов, а женщины захвачены чувствами. И еще – мужчин с детства готовят, что им, может быть, придется стрелять. Женщин этому не учат… они не собирались делать эту работу… И они помнят другое, и иначе помнят. Способны увидеть закрытое для мужчин. Еще раз повторю: их война – с запахом, с цветом, с подробным миром существования: «дали нам вещмешки, мы пошили из них себе юбочки»; «в военкомате в одну дверь зашла в платье, а в другую вышла в брюках и гимнастерке, косу отрезали, на голове остался один чубчик…»; «немцы расстреляли деревню и уехали… Мы пришли на то место: утоптанный желтый песок, а поверху – один детский ботиночек…». Не раз меня предупреждали (особенно мужчины-писатели): «Женщины тебе напридумывают. Насочиняют». Но я убедилась: такое нельзя придумать. У кого-то списать? Если это можно списать, то только у жизни, у нее одной такая фантазия.

О чем бы женщины ни говорили, у них постоянно присутствует мысль: война – это прежде всего убийство, а потом – тяжелая работа. А потом – и просто обычная жизнь: пели, влюблялись, накручивали бигуди…

В центре всегда то, как невыносимо и не хочется умирать. А еще невыносимее и более неохота убивать, потому что женщина дает жизнь. Дарит. Долго носит ее в себе, вынянчивает. Я поняла, что женщинам труднее убивать.

* * *

Мужчины… Они неохотно впускают женщин в свой мир, на свою территорию.

На Минском тракторном заводе искала женщину, она служила снайпером. Была знаменитым снайпером. О ней писали не раз во фронтовых газетах. Номер домашнего телефона мне дали в Москве ее подруги, но старый. Фамилия тоже у меня была записана девичья. Пошла на завод, где, как я знала, она работает, в отделе кадров, и услышала от мужчин (директора завода и начальника отдела кадров): «Мужчин, что ли, не хватает? Зачем вам эти женские истории. Женские фантазии…». Мужчины боялись, что женщины какую-то не ту войну расскажут.

Была в одной семье… Воевали муж и жена. Встретились на фронте и там же поженились: «Свадьбу свою отпраздновали в окопе. Перед боем. А белое платье я себе пошила из немецкого парашюта». Он – пулеметчик, она – связная. Мужчина сразу отправил женщину на кухню: «Ты нам что-нибудь приготовь». Уже и чайник вскипел, и бутерброды нарезаны, она присела с нами рядом, муж тут же ее поднял: «А где клубника? Где наш дачный гостинец?». После моей настойчивой просьбы неохотно уступил свое место со словами: «Рассказывай, как я тебя учил. Без слез и женских мелочей: хотелось быть красивой, плакала, когда косу отрезали». Позже она мне шепотом призналась: «Всю ночь со мной штудировал том “Истории Великой Отечественной войны”. Боялся за меня. И сейчас переживает, что не то вспомню. Не так, как надо».

Так было не один раз, не в одном доме.

Да, они много плачут. Кричат. После моего ухода глотают сердечные таблетки. Вызывают «скорую». Но все равно просят: «Ты приходи. Обязательно приходи. Мы так долго молчали. Сорок лет молчали…»

Понимаю, что плач и крик нельзя подвергать обработке, иначе главным будет не плач и не крик, а обработка. Вместо жизни останется литература. Таков материал, температура этого материала. Постоянно зашкаливает. Человек больше всего виден и открывается на войне и еще, может быть, в любви. До самых глубин, до подкожных слоев. Перед лицом смерти все идеи бледнеют, и открывается непостижимая вечность, к которой никто не готов. Мы еще живем в истории, а не в космосе.

Несколько раз я получала отосланный на читку текст с припиской: «О мелочах не надо… Пиши о нашей великой Победе…». А «мелочи» – это то, что для меня главное – теплота и ясность жизни: оставленный чубчик вместо кос, горячие котлы каши и супа, которые некому есть – из ста человек вернулось после боя семь; или то, как не могли ходить после войны на базар и смотреть на красные мясные ряды… Даже на красный ситец… «Ах, моя ты хорошая, уже сорок лет прошло, а в моем доме ты не найдешь ничего красного. Я ненавижу после войны красный цвет!»

* * *

Вслушиваюсь в боль… Боль как доказательство прошедшей жизни. Других доказательств нет, другим доказательствам я не доверяю. Слова не один раз уводили нас от истины.

Думаю о страдании как высшей форме информации, имеющей прямую связь с тайной. С таинством жизни. Вся русская литература об этом. О страдании она писала больше, чем о любви.

И мне об этом рассказывают больше…

* * *

Кто они – русские или советские? Нет, они были советские – и русские, и белорусы, и украинцы, и таджики…

Все-таки был он, советский человек. Таких людей, я думаю, больше никогда не будет, они сами это уже понимают. Даже мы, их дети, другие. Хотели бы быть, как все. Похожими не на своих родителей, а на мир. А что говорить о внуках…

Но я люблю их. Восхищаюсь ими. У них был Сталин и ГУЛаг, но была и Победа. И они это знают.

Получила недавно письмо:

«Моя дочь меня очень любит, я для нее – героиня, если она прочтет вашу книгу, у нее появится сильное разочарование. Грязь, вши, бесконечная кровь – все это правда. Я не отрицаю. Но разве воспоминания об этом способны родить благородные чувства? Подготовить к подвигу…»

Не раз убеждалась:

…наша память – далеко не идеальный инструмент. Она не только произвольна и капризна, она еще на цепи у времени, как собака.

…мы смотрим на прошлое из сегодня, мы не можем смотреть ниоткуда.

…а еще они влюблены в то, что с ними было, потому что это не только война, но и их молодость. Первая любовь.

* * *

Слушаю, когда они говорят… Слушаю, когда они молчат… И слова, и молчание – для меня текст.

– Это – не для печати, для тебя… Те, кто был старше… Они сидели в поезде задумчивые… Печальные. Я помню, как один майор заговорил со мной ночью, когда все спали, о Сталине. Он крепко выпил и осмелел, он признался, что его отец уже десять лет в лагере, без права переписки. Жив он или нет – неизвестно. Этот майор произнес страшные слова: «Я хочу защищать Родину, но я не хочу защищать этого предателя революции – Сталина». Я никогда не слышала таких слов… Я испугалась. К счастью, он утром исчез. Наверное, вышел…

– Скажу тебе по секрету… Я дружила с Оксаной, она была с Украины. Впервые от нее я услышала о страшном голоде на Украине. Голодоморе. Уже лягушку или мышь было не найти – все съели. В их селе умерла половина людей. Умерли все ее меньшие братья и папа с мамой, а она спаслась тем, что ночью воровала на колхозной конюшне конский навоз и ела. Никто не мог его есть, а она ела: «Теплый не лезет в рот, а холодный можно. Лучше замерзший, он сеном пахнет». Я говорила: «Оксана, товарищ Сталин сражается. Он уничтожает вредителей, но их много». – «Нет, – отвечала она, – ты глупая. Мой папа был учитель истории,

он мне говорил: “Когда-нибудь товарищ Сталин ответит за свои преступления…”»

Ночью я лежала и думала: а вдруг Оксана – враг? Шпионка? Что делать? Через два дня в бою она погибла. У нее не осталось никого из родных, некому было послать похоронку…

Затрагивают эту тему осторожно и редко. Они до сих пор парализованы не только сталинским гипнозом и страхом, но и прежней своей верой. Не могут ещё разлюбить то, что любили. Мужество на войне и мужество мысли – это два разных мужества. А я думала, что это одно и то же.

* * *

Рукопись давно лежит на столе…

Уже два года я получаю отказы из издательств. Молчат журналы. Приговор всегда одинаков: слишком страшная война. Много ужаса. Натурализма. Нет ведущей и направляющей роли коммунистической партии. Одним словом, не та война… Какая же она – та? С генералами и мудрым генералиссимусом? Без крови и вшей? С героями и подвигами. А я помню с детства: идем с бабушкой вдоль большого поля, она рассказывает: «После войны на этом поле долго ничего не родило. Немцы отступали… И был тут бой, два дня бились… Убитые лежали один возле одного, как снопы. Как шпалы на железнодорожной станции. Немцы и наши. После дождя у них у всех были заплаканные лица. Мы их месяц всей деревней хоронили…».

Как забыть мне про это поле?

Я не просто записываю. Я собираю, выслеживаю человеческий дух там, где страдание творит из маленького человека большого человека. Где человек вырастает. И тогда он для меня – уже не немой и не бесследный пролетариат истории. Отрывается его душа. Так в чем же мой конфликт с властью? Я поняла – большой идее нужен маленький человек, ей не нужен большой. Для нее он лишний и неудобный. Трудоемкий в обработке. А я его ищу. Ищу маленького большого человека. Униженный, растоптанный, оскорбленный – пройдя через сталинские лагеря и предательства, он все-таки победил. Совершил чудо.

Но историю войны подменили историей победы.

Он сам об этом расскажет…

Через семнадцать лет

2002–2004 гг

Читаю свой старый дневник…

Пытаюсь вспомнить человека, каким я была, когда писала книгу. Того человека уже нет, и даже нет страны, в которой мы тогда жили. А это ее защищали и во имя ее умирали в сорок первом – сорок пятом. За окном уже все другое: новое тысячелетие, новые войны, новые идеи, новое оружие и совершенно неожиданным образом изменившийся русский (точнее – русско-советский) человек.

Началась горбачевская перестройка… Мою книгу сходу напечатали, у нее был удивительный тираж – два миллиона экземпляров. То было время, когда происходило много потрясающих вещей, мы опять куда-то яростно рванули. Опять – в будущее. Мы еще не знали (или забыли), что революция – это всегда иллюзия, особенно в нашей истории. Но это будет потом, а тогда все были опьянены воздухом свободы. Я стала получать ежедневно десятки писем, мои папки разбухали. Люди захотели говорить… Договорить… Они стали и свободнее и откровеннее. У меня не оставалось сомнений, что я обречена бесконечно дописывать свои книги. Не переписывать, а дописывать. Поставишь точку, а она тут же превращается в многоточие…

* * *

Я думаю о том, что, наверное, сегодня задавала бы другие вопросы и услышала бы другие ответы. И написала бы другую книгу, не совсем другую, но все-таки другую. Документы (с которыми я имею дело) – живые свидетельства, они не застывают, как охладевшая глина. Не немеют. Они движутся вместе с нами. О чем бы я больше расспрашивала сейчас?

Что хотела бы добавить? Меня бы очень интересовал… подыскиваю слово… биологический человек, а не только человек времени и идеи. Я попыталась бы заглянуть глубже в человеческую природу, во тьму, в подсознание. В тайну войны.

Написала бы о том, как пришла к бывшей партизанке… Грузная, но еще красивая женщина – и она мне рассказывала, как их группа (она старшая и двое подростков) вышли в разведку и случайно захватили в плен четверых немцев. Долго с ними кружили по лесу. Наткнулись на засаду. Ясно, что с пленными они уже не прорвутся, не уйдут, и она приняла решение – пустить их в расход. Подростки убить не смогут: уже несколько дней они ходят по лесу вместе, а если ты так долго с человеком, даже чужим, все равно к нему привыкаешь, он приближается – уже знаешь, как он ест, как он спит, какие у него глаза, руки. Нет, подростки не смогут. Это ей сразу стало понятно. Значит, убить должна она. И вот она вспоминала, как их убивала. Пришлось обманывать и тех, и других. С одним немцем пошла якобы за водой и выстрелила сзади. В затылок. Другого за хворостом повела… Меня потрясло, как спокойно она об этом рассказывала.

Те, кто был на войне, вспоминают, что гражданский человек превращается в военного за три дня. Почему достаточно всего трех дней? Или это тоже миф? Скорее всего. Человек там – куда незнакомее и непонятнее.

Во всех письмах я читала: «Я вам не все рассказала тогда, потому что другое было время. Мы привыкли о многом молчать…», «Не все вам доверила. Еще недавно об этом нельзя было говорить. Или стыдно», «Знаю приговор врачей: у меня страшный диагноз… Хочу рассказать всю правду…».

А недавно пришло такое письмо: «Нам, старикам, трудно жить… Но не из-за маленьких и унизительных пенсий мы страдаем. Больше всего ранит то, что мы изгнаны из большого прошлого в невыносимо маленькое настоящее. Уже никто нас не зовет выступать в школы, в музеи, уже мы не нужны. В газетах, если почитаешь, фашисты все благороднее, а красные солдаты все страшнее».

Время – это тоже родина… Но я по-прежнему их люблю. Не люблю их время, а их люблю.

* * *

Все может стать литературой…

Больше всего меня заинтересовал в моих архивах блокнот, где я записывала те эпизоды, которые вычеркнула цензура. А также – мои разговоры с цензором. Там же я нашла страницы, которые выбросила сама. Моя самоцензура, мой собственный запрет. И мое объяснение – почему я это выбросила. Многое из того и другого уже восстановлено в книге, но эти несколько страниц хочу дать отдельно – это уже документ. Мой путь.

Из того, что выбросила цензура

«Я ночью сейчас проснусь… Как будто кто-то ну… плачет рядом… Я – на войне…

Мы отступаем… За Смоленском какая-то женщина выносит мне свое платье, я успеваю переодеться. Иду одна… среди мужиков. То я была в брюках, а то иду в летнем платье. У меня вдруг начались эти дела… Женские… Раньше начались, наверное, от волнений. От переживаний, от обиды. Где ты тут что найдешь? Стыдно! Как мне было стыдно! Под кустами, в канавах, в лесу на пнях спали. Столько нас было, что места в лесу всем не хватало. Шли мы растерянные, обманутые, никому уже не верящие… Где наша авиация, где наши танки? То, что летает, ползает, гремит – все немецкое.

Такая я попала в плен. В последний день перед пленом перебило еще обе ноги… Лежала и под себя мочилась… Не знаю, какими силами уползла ночью в лес. Случайно подобрали партизаны….

Мне жалко тех, кто эту книгу прочитает, и кто ее не прочитает…»

«У меня было ночное дежурство… Зашла в палату тяжелораненых. Лежит капитан… Врачи предупредили меня перед дежурством, что ночью он умрет. Не дотянет до утра… Спрашиваю его: “Ну как? Чем тебе помочь?”. Никогда не забуду… Он вдруг улыбнулся, такая светлая улыбка на измученном лице: «Расстегни халат… Покажи мне свою грудь… Я давно не видел жену…». Я растерялась, я же еще даже не целованная была. Что-то я там ему ответила.

Убежала и вернулась через час.

Он лежал мертвый. И та улыбка у него на лице…»

«Под Керчью… Ночью под обстрелом шли мы на барже. Загорелась носовая часть… Огонь полез по палубе. Взорвались боеприпасы… Мощный взрыв! Взрыв такой силы, что баржа накренилась на правый бок и начала тонуть. А берег уже недалеко, мы понимаем, что берег где-то рядом, и солдаты кинулись в воду. С берега застучали пулеметы. Крики, стоны, мат… Я хорошо плавала, я хотела хотя бы одного спасти. Хотя бы одного раненого… Это же вода, а не земля – раненый человек погибнет сразу. Пойдёт ко дну… Слышу – кто-то рядом то вынырнет наверх, то опять под воду уйдет. Наверх – под воду. Я улучила момент, схватила его… Что-то холодное, скользкое… Я решила, что это раненый, а одежду с него сорвало взрывом. Потому, что я сама голая… В белье осталась… Темнотища. Глаз выколи. Вокруг: “Э-эх! Ай-я-я!”. И мат… Добралась я с ним как-то до берега… В небе как раз в этот миг вспыхнула ракета, и я увидела, что притянула на себе большую раненую рыбу. Рыба большая, с человеческий рост. Белуга… Она умирает… Я упала возле нее и заломила такой трехэтажный мат. Заплакала от обиды… И от того, что все страдают…»

«Выходили из окружения… Куда ни кинемся – везде немцы. Решаем: утром будем прорываться с боем. Все равно погибнем, так лучше погибнем достойно. В бою. У нас было три девушки. Они приходили ночью к каждому, кто мог… Не все, конечно, были способны. Нервы, сами понимаете. Такое дело… Каждый готовился умереть…

Спаслись утром единицы… Мало… Ну, человек семь, а было пятьдесят, если не больше. Посекли немцы пулеметами… Вспоминаю тех девчонок с благодарностью. Ни одной утром не нашел среди живых… Никогда больше не встретил…»

Из разговора с цензором

– Кто пойдет после таких книг воевать? Вы унижаете женщину примитивным натурализмом. Женщину-героиню. Развенчиваете. Делаете ее обыкновенной женщиной. Самкой. А они у нас – святые.

– Наш героизм стерильный, он не хочет считаться ни с физиологией, ни с биологией. Ему не веришь. А испытывался не только дух, но и тело. Материальная оболочка.

– Откуда у вас эти мысли? Чужие мысли. Не советские. Вы смеетесь над теми, кто в братских могилах. Ремарка начитались… У нас ремаркизм не пройдет. Советская женщина – не животное…

* * *

«Кто-то нас выдал… Немцы узнали, где стоянка партизанского отряда. Оцепили лес и подходы к нему со всех сторон. Прятались мы в диких чащах, нас спасали болота, куда каратели не заходили. Трясина. И технику, и людей она затягивала намертво. По несколько дней, неделями мы стояли по горло в воде. С нами была радистка, она недавно родила. Ребенок голодный… Просит грудь… Но мама сама голодная, молока нет, и ребенок плачет. Каратели рядом… С собаками… Если собаки услышат, то все погибнем. Вся группа – человек тридцать… Вам понятно?

Командир принимает решение…

Никто не решается передать матери приказ, но она сама догадывается. Опускает сверток с ребенком в воду и долго там держит… Ребенок больше не кричит… Ни звука… А мы не можем поднять глаза. Ни на мать, ни друг на друга…»

«Мы брали пленных, приводили в отряд… Их не расстреливали, слишком легкая смерть для них, мы закалывали их, как свиней, шомполами, резали по кусочкам. Я ходила на это смотреть… Ждала! Долго ждала того момента, когда от боли у них начнут лопаться глаза… Зрачки…

Что вы об этом знаете?! Они мою маму с сестричками сожгли на костре посреди деревни…»

«Я не запомнила в войну ни кошек, ни собак, помню крыс. Большие… С желто-синими глазами… Их было видимо-невидимо. Когда я поправилась после ранения, из госпиталя меня направили назад в мою часть. Часть стояла в окопах под Сталинградом. Командир приказал: “Отведите ее в девичью землянку”. Я вошла в землянку и первым делом удивилась, что там нет никаких вещей. Пустые постели из хвойных веток, и все. Меня не предупредили… Я оставила в землянке свой рюкзак и вышла, когда вернулась через полчаса, рюкзак свой не нашла. Никаких следов вещей, ни расчески, ни карандаша. Оказалось, что все мигом сожрали крысы…

А утром мне показали обгрызенные руки у тяжелораненых…

Ни в каком самом страшном фильме я не видела, как крысы уходят перед артобстрелом из города. Это не в Сталинграде… Уже было под Вязьмой… Утром по городу шли стада крыс, они уходили в поля. Они чуяли смерть. Их были тысячи… Черные, серые… Люди в ужасе смотрели на это зловещее зрелище и жались к домам. И ровно в то время, когда крысы скрылись с наших глаз, начался обстрел. Налетели самолеты. Вместо домов и подвалов остался каменный песок…»

«Под Сталинградом было столько убитых, что лошади их уже не боялись. Обычно пугаются. Лошадь никогда не наступит на мертвого человека. Своих убитых мы собрали, а немцы валялись всюду. Замерзшие… Ледяные… Я – шофер, возила ящики с артиллерийскими снарядами, я слышала, как под колесами трещали их черепа… Кости… И я была счастлива…»

Из разговора с цензором

– Да, нам тяжело далась Победа, но вы должны искать героические примеры. Их сотни. А вы показываете грязь войны. Нижнее белье. У вас наша Победа страшная… Чего вы добиваетесь?

– Правды.

– А вы думаете, что правда – это то, что в жизни. То, что на улице. Под ногами. Для вас она такая низкая. Земная. Нет, правда – это то, о чем мы мечтаем. Какими мы хотим быть!

* * *

«Наступаем… Первые немецкие поселки… Мы – молодые. Сильные. Четыре года без женщин. В погребах – вино. Закуска. Ловили немецких девушек и… Десять человек насиловали одну… Женщин не хватало, население бежало от Советской армии, брали юных. Девочек… Двенадцать-тринадцать лет… Если она плакала, били, что-нибудь заталкивали в рот. Ей больно, а нам смешно. Я сейчас не понимаю, как я мог… Мальчик из интеллигентной семьи… Но это был я…

Единственное, чего мы боялись, чтобы наши девушки об этом не узнали. Наши медсестры. Перед ними было стыдно…»

«Попали в окружение… Скитались по лесам, по болотам. Ели листья, ели кору деревьев. Какие-то корни. Нас было пятеро, один совсем мальчишка, только призвали в армию. Ночью мне сосед шепчет: “Мальчишка полуживой, все равно умрет. Ты понимаешь…” – “Ты о чем?” – “Мне один зэк рассказывал… Они, когда из лагеря бежали, специально брали с собой молодого… Человеческое мясо съедобное… Так спасались…”

Ударить сил не хватило. Назавтра мы встретили партизан…»

«Партизаны днем приехали на конях в деревню. Вывели из дома старосту и его сына. Секли их по голове железными прутьями, пока они не упали. И на земле добивали. Я сидела у окна. Все видела… Среди партизан был мой старший брат… Когда он вошел в наш дом и хотел меня обнять: “Сестренка!” – я закричала: “Не подходи! Не подходи! Ты – убийца!”. А потом онемела. Месяц не разговаривала.

Брат погиб… А что было бы, останься он жив? И вернулся бы домой…»

«Утром каратели подожгли нашу деревню… Спаслись только те люди, которые убежали в лес. Убежали без ничего, с пустыми руками, даже хлеба с собой не взяли. Ни яиц, ни сала. Ночью тетя Настя, наша соседка, била свою девочку, потому что та все время плакала. С тетей Настей было пятеро ее детей. Юлечка, моя подружка, сама слабенькая. Она всегда болела… И четыре мальчика, все маленькие, и все тоже просили есть. И тетя Настя сошла с ума: “У-у-у… У-у-у…”. А ночью я услышала… Юлечка просила: “Мамочка, ты меня не топи. Я не буду… Я больше есточки просить у тебя не буду. Не буду…”.

Утром Юлечки уже никто не увидел…

Тетя Настя… Мы вернулись в деревню на угольки… Деревня сгорела. Скоро тетя Настя повесилась на черной яблоне в своем саду. Висела низко-низко. Дети стояли возле нее и просили есть…»

Из разговора с цензором

– Это – ложь! Это клевета на нашего солдата, освободившего пол-Европы. На наших партизан. На наш народ-герой. Нам не нужна ваша маленькая история, нам нужна большая история. История Победы. Вы не любите наших героев! Вы не любите наши великие идеи. Идеи Маркса и Ленина.

– Да, я не люблю великие идеи. Я люблю маленького человека…

Из того, что выбросила я сама

«Сорок первый год… Мы в окружении. С нами политрук Лунин… Он зачитал приказ, что советские солдаты врагу не сдаются. У нас, как сказал товарищ Сталин, пленных нет, а есть предатели. Ребята достали пистолеты… Политрук приказал: “Не надо. Живите, хлопцы, вы – молодые”. А сам застрелился…

А это уже сорок третий… Советская армия наступает. Шли по Беларуси. Помню маленького мальчика. Он выбежал к нам откуда-то из-под земли, из погреба, и кричал: “Убейте мою мамку… Убейте! Она немца любила…”. У него были круглые от страха глаза. За ним бежала черная старуха. Вся в черном. Бежала и крестилась: “Не слушайте дитя. Дитя сбожеволило…”»

«Вызвали меня в школу… Со мной разговаривала учительница, вернувшаяся из эвакуации:

– Я хочу перевести вашего сына в другой класс. В моем классе – самые лучшие ученики.

– Но у моего сына одни “пятерки”.

– Это не важно. Мальчик жил под немцами.

– Да, нам было трудно.

– Я не об этом. Все, кто был в оккупации… Они под подозрением…

– Что? Я не понимаю…

– Он про немцев детям рассказывает. И он заикается.

– Это у него от страха. Его избил немецкий офицер, который жил у нас на квартире. Был недоволен, как сын почистил ему сапоги.

– Вот видите… Сами признаетесь… Вы жили рядом с врагом…

– А кто этого врага допустил до самой Москвы? Кто нас здесь оставил с нашими детьми?

Со мной – истерика…

Два дня боялась, что учительница донесет на меня. Но она оставила сына в своем классе…»

«Днем мы боялись немцев и полицаев, а ночью партизан. У меня последнюю коровку партизаны забрали, остался у нас один кот. Партизаны голодные, злые. Повели мою коровку, а я – за ними… Километров десять шла. Молила – отдайте. Трое детей голодных в хате на печи оставила. «Уходи, тетка! – пригрозили. – А то пристрелим».

Попробуй найди в войну хорошего человека…

Свой на своего шел. Дети кулаков вернулись из ссылки. Родители их погибли, и они служили немецкой власти. Мстили. Один застрелил в хате старого учителя. Нашего соседа. Тот когда-то донес на его отца, раскулачивал. Был ярый коммунист.

Немцы сначала распустили колхозы, дали людям землю. Люди вздохнули после Сталина. Мы платили оброк… Аккуратно платили… А потом стали нас жечь. Нас и дома наши. Скотину угоняли, а людей жгли.

Ой, доченька, я слов боюсь. Слова страшные… Я добром спасалась, никому не хотела зла. Всех жалела…»

«Я до Берлина с армией дошла…

Вернулась в свою деревню с двумя орденами Славы и медалями. Пожила три дня, а на четвертый раненько мама поднимает меня с постели, пока все спят: “Доченька, я тебе собрала узелок. Уходи… Уходи… У тебя еще две младших сестры растут. Кто их замуж возьмет? Все знают, что ты четыре года была на фронте, с мужчинами…”.

Не трогайте мою душу. Напишите, как другие, о моих наградах…»

«На войне, как на войне. Это вам не театр…

Выстроили на поляне отряд, мы стали кольцом. А посередине – Миша К. и Коля М. – наши ребята. Миша был смелый разведчик, на гармошке играл. Никто лучше Коли не пел…

Приговор читали долго: в такой-то деревне потребовали две бутылки самогона, а ночью… двух хозяйских девочек изнасиловали… А в такой-то деревне: у крестьянина… забрали пальто и швейную машинку, которую тут же пропили, у соседей…

Приговариваются к расстрелу… Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Кто будет расстреливать? Отряд молчит… Кто? Молчим… Командир сам привел приговор в исполнение…»

«Я была пулеметчицей. Я столько убила…

После войны боялась долго рожать. Родила, когда успокоилась. Через семь лет…

Но я до сих пор ничего не простила. И не прощу… Я радовалась, когда видела пленных немцев. Я радовалась, что на них жалко было смотреть: на ногах портянки вместо сапог, на голове портянки… Их ведут через деревню, они просят: “Мать, дай хлэба… Хлэба…”. Меня поражало, что крестьяне выходили из хат и давали им – кто кусок хлеба, кто картофелину… Мальчишки бежали за колонной и бросали камни… А женщины плакали…

Мне кажется, что я прожила две жизни: одну – мужскую, вторую – женскую…»

«После войны… Человеческая жизнь ничего не стоила. Дам один пример… Еду после работы в автобусе, вдруг начались крики: “Держите вора! Держите вора! Моя сумочка…”. Автобус остановился… Сразу – толкучка. Молодой офицер выводит на улицу мальчишку, кладет его руку себе на колено и – бах! ломает ее пополам. Вскакивает назад… И мы едем… Никто не заступился за мальчишку, не позвал милиционера. Не вызвали врача. А у офицера вся грудь в боевых наградах… Я стала выходить на своей остановке, он соскочил и подал мне руку:

“Проходите, девушка…”. Такой галантный…

Это я сейчас вспомнила… А тогда мы все еще были военными людьми, жили по законам военного времени. Разве они человеческие?»

«Вернулась Красная армия…

Нам разрешили раскапывать могилы, искать, где наших родственников постреляли. По старым обычаям рядом со смертью надо быть в белом – в белом платке, в белой сорочке. До последней своей минуты я это буду помнить! Люди шли с белыми вышитыми рушниками… Одетые во все белое… Где они его взяли?

Копали… Кто что нашел – признал, то и забрал. Кто руку на тачке везет, кто на подводе голову… Человек долго целый в земле не лежит, они все там перемешались друг с другом. С глиной, с песком.

Сестру не нашла, показалось мне, что один кусочек платья – это ее, что-то знакомое… Дед тоже сказал – заберем, будет что хоронить. Тот кусочек платья мы в гробик и положили…

На отца получили бумажку “пропал без вести”. Другие что-то получали за тех, кто погиб, а нас с мамой в сельсовете напугали: “Вам никакой помощи не положено. А может, он живет припеваючи с немецкой фрау. Враг народа”.

Я стала искать отца при Хрущеве. Через сорок лет. Ответили мне при Горбачеве: “В списках не значится…”. Но откликнулся его однополчанин, и я узнала, что погиб отец геройски. Под Могилевом бросился с гранатой под танк…

Жаль, что моя мама не дождалась этой вести. Она умерла с клеймом жены врага народа. Предателя. И таких, как она, было много. Не дожили до правды. Я сходила к маме на могилку с письмом. Прочитала…»

«Многие из нас верили…

Мы думали, что после войны все изменится… Сталин поверит своему народу. Но еще война не кончилась, а эшелоны уже пошли в Магадан. Эшелоны с победителями… Арестовали тех, кто был в плену, выжил в немецких лагерях, кого увезли немцы на работу – всех, кто видел Европу. Мог рассказать, как там живет народ. Без коммунистов. Какие там дома и какие дороги. О том, что нигде нет колхозов…

После Победы все замолчали. Молчали и боялись, как до войны…»

«Я – учитель истории… На моей памяти учебник истории переписывали три раза. Я учила детей по трем разным учебникам…

Спросите нас, пока мы живы. Не переписывайте потом без нас. Спросите…

Знаете, как трудно убить человека. Я работала в подполье. Через полгода получила задание – устроиться официанткой в офицерскую столовую… Молодая, красивая… Меня взяли. Я должна была насыпать яд в котел супа и в тот же день уйти к партизанам. А уже я к ним привыкла, они враги, но каждый день ты их видишь, они тебе говорят: “Данке шон… Данке шон…”. Это – трудно… Убить трудно… Убить страшнее, чем умереть…

Я всю жизнь преподавала историю… И всегда не знала, как об этом рассказать. Какими словами…»

У меня была своя война… Я прошла длинный путь вместе со своими героинями. Как и они, долго не верила, что у нашей Победы два лица – одно прекрасное, а другое страшное, все в рубцах – невыносимо смотреть. «В рукопашной, убивая человека, заглядывают ему в глаза. Это не бомбы сбрасывать или стрелять из окопа», – рассказывали мне.

Слушать человека, как он убивал и умирал, то же самое – смотришь в глаза…

«Не хочу вспоминать…»

Старый трехэтажный дом на окраине Минска, из тех, что наспех и, как тогда казалось, ненадолго, строились сразу после войны, давно и уютно обросший кустами жасмина. С него и начался поиск, который продлится семь лет, удивительных и мучительных семь лет, когда я открою для себя мир войны, мир с неразгаданным до конца нами смыслом. Испытаю боль, ненависть, искушение. Нежность и недоумение… Попытаюсь понять, чем отличается смерть от убийства, и где граница между человеческим и нечеловеческим. Как человек остается наедине с этой безумной мыслью, что он может убить другого человека? Даже обязан убить. И обнаружу, что на войне, кроме смерти, есть множество других вещей, там есть все, что есть в обычной нашей жизни. Война – это тоже жизнь. Столкнусь с бесчисленностью человеческих правд. Тайн. Задумаюсь над вопросами, о существовании которых раньше не догадывалась. Например, о том, почему мы не удивляемся злу, в нас отсутствует удивление перед злом?

Дорога и дороги… Десятки поездок по всей стране, сотни записанных кассет, тысячи метров магнитофонной пленки. Пятьсот встреч, а дальше перестала считать, лица уходили из памяти, оставались только голоса. В моей памяти звучит хор. Огромный хор, иногда слов почти не слышно, только плач. Признаюсь: не всегда верила, что этот путь мне под силу, я смогу его одолеть. Дойду до конца. Были минуты сомнений и страха, когда хотелось остановиться или отойти в сторону, но уже не могла. Я стала пленницей зла, заглянула в бездну, чтобы что-то понять. Теперь, мне кажется, я приобрела некоторые знания, но вопросов стало еще больше, а ответов – еще меньше.

Но тогда, в самом начале пути, я об этом не подозревала…

Привела меня в этот дом небольшая заметка в городской газете о том, что недавно на Минском заводе дорожных машин “Ударник” провожали на пенсию старшего бухгалтера Марию Ивановну Морозову. А в войну, говорилось в той же заметке, она была снайпером, имеет одиннадцать боевых наград, на ее снайперском счету – семьдесят пять убитых. Трудно было соединить в сознании военную профессию этой женщины с ее мирным занятием. С будничным газетным снимком. Со всеми этими признаками обыкновенности.

…Маленькая женщина с девичьим венцом длинной косы вокруг головы сидела в большом кресле, закрыв лицо руками:

– Нет-нет, не буду. Опять возвращаться туда? Не могу… До сих пор военные фильмы не смотрю. Я тогда была совсем девочка. Мечтала и росла, росла и мечтала. И тут – война. Мне даже жалко тебя… Я знаю, о чем говорю… Ты на самом деле хочешь это знать? Как у дочки спрашиваю…

Конечно же удивилась:

– А почему ко мне? Надо к моему мужу, он любит вспоминать. Как звали командиров, генералов, номера частей – все помнит. А я нет. Я помню только то, что со мной было. Свою войну. Вокруг много людей, но ты всегда одна, потому что человек всегда одинок перед смертью. Я помню жуткое одиночество.

Попросила убрать магнитофон:

– Мне нужны твои глаза, чтобы рассказывать, а он будет мешать.

Но через несколько минут забыла о нем…

Мария Ивановна Морозова (Иванушкина), ефрейтор, снайпер:

«Это будет простой рассказ… Рассказ обыкновенной русской девушки, каких тогда было много…

Там, где стояло мое родное село Дьяковское, сейчас Пролетарский район Москвы. Война началась, мне было неполных восемнадцать лет. Косы длинные-длинные, до колен… Никто не верил, что война надолго, все ждали – вот-вот кончится. Отгоним врага. Я ходила в колхоз, потом окончила бухгалтерские курсы, стала работать. Война продолжается… Мои подружки… Мои девчонки говорят: “Надо идти на фронт”. Это уже в воздухе висело. Записались все на курсы при военкомате. Может, кто и за компанию, не знаю. Нас там учили стрелять из боевой винтовки, бросать гранаты. Первое время… Я, признаюсь, боялась винтовку в руки брать, было неприятно. Представить себе не могла, что пойду кого-то убивать, просто хотела на фронт и все. Нас в кружке занималось сорок человек. Из нашей деревни – четыре девушки, ну, все мы, подружки, из соседней – пять, одним словом, из каждой деревни кто-то. И одни девушки. Мужчины-то уже все пошли на войну, кто мог. Иногда вестовой

приезжал среди ночи, давал два часа на сборы, и их увозили. Бывало, забирали даже с поля. (Молчит.) Я теперь не вспомню – были ли у нас танцы, если да, то девушка танцевала с девушкой, парней не осталось. Деревни наши притихли.

Скоро появился призыв ЦК комсомола и молодежи, поскольку немцы были уже под Москвой, всем стать на защиту Родины. Как это Гитлер возьмет Москву? Не допустим! Не только я одна… Все девочки изъявили желание идти на фронт. У меня уже отец воевал. Мы думали, что будем одни такие… Особенные… А пришли в военкомат – там много девушек. Я ахнула! Мое сердце загорелось, сильно так. А отбор был очень строгий. Первое, так это, конечно, надо было иметь крепкое здоровье. Я боялась, что меня не возьмут, потому что в детстве часто болела, и косточка, как моя мама говорила, была слабая. Из-за этого меня другие дети обижали маленькую. Потом, если в доме, кроме той девчонки, которая уходила на фронт, никого больше из детей нет, тоже отказывали, так как нельзя было оставлять одну мать. Ой, наши мамочки! От слез они не просыхали… Они ругали нас, они просили… Но у меня еще были две сестры и два брата, правда, все намного меньше меня, но все равно считалось. Тут еще одно – из колхоза все ушли, на поле некому работать, и председатель не хотел нас отпускать. Одним словом, нам отказали. Пошли мы в райком комсомола, и там – отказ. Тогда мы делегацией из нашего района поехали в обком комсомола. У всех был большой порыв, сердца горели. Нас опять отправили там домой. И мы решили, коль мы в Москве, то пойти в ЦК комсомола, на самый верх, к первому секретарю. Добиваться до конца… Кто будет докладывать, кто из нас смелый? Думали, что тут-то точно одни окажемся, а там в коридор нельзя было втиснуться, не то что дойти до секретаря. Там со всей страны молодежь, много таких, кто побывал в оккупации, за гибель близких рвались отомстить. Со всего Союза. Да-да… Короче – мы даже растерялись на какое-то время…

Конец ознакомительного фрагмента.

---

Купить: https://tellnovel.com/svetlana-aleksievich/u-voyny-ne-zhenskoe-lico-kupit

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити